

Полина Дашкова

# Качели (сборник)



# Полина Дашкова Качели (сборник)

*Текст предоставлен издательством «АСТ»*

*<https://litres.ru/169979>*

*Качели: Астрель, АСТ; М.: 2003*

*ISBN 5-17-018972-9, 5-271-06950-8*

## Аннотация

<p>Роман я обычно пишу не больше года. Эту тоненькую книжку писала двадцать лет. То есть она писалась сама собой. Она похожа на качели, на быстрые легкие перелеты из прошлого в настоящее и обратно. Я не знаю, что получилось. Пусть судит читатель.</p> <p><strong>Полина Дашкова</strong></p>

# Содержание

Вместо предисловия	4
Эссе. Стихи разных лет	8
Горожанин и друг горожан	8
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# **Полина Дашкова**

## **Качели**

### **Вместо предисловия**

Всю жизнь, сколько себя помню, я что-нибудь сочиняла. У меня врожденная патология органов чувств или обмена веществ, при которой все увиденное, услышанное и даже унюханное в окружающем мире должно быть непременно выражено в литературной форме. Наиболее точным в этом смысле мне кажется замечание Бердяева: «Если я перестану писать, у меня полопаются кровеносные сосуды».

Меня так увлекает сам процесс, что почти не остается сил позаботиться о судьбе написанного. В советское время мои стихи, эссе, статьи появлялись в печати лишь по инициативе редакций. Самостоятельно, без приглашения, снять телефонную трубку, позвонить, а тем более доехать до какой-нибудь редакции, выложить рукопись на стол перед литературным чиновником, потом выслушивать его державное мнение — от одной только мысли об этом у меня слипались глаза, скулы сводила зевота, во рту возникал вкус рыбьего жира. В итоге я шла куда-нибудь совсем в другое место, в кино, например, или просто погулять, или вообще оставалась дома,

садилась за письменный стол и сочиняла что-нибудь.

В юности я гордилась и кокетничала этой своей снобской ленью. Коллеги суетились, заводили нужные знакомства, пробивали публикации, всем их показывали, аккуратно хранили. И правильно делали. Но это я поняла значительно позже. Хрестоматийные строки Пастернака о том, что «не надо заводить архивы, над рукописями трястись», перестали казаться мне аксиомой.

Этим летом на даче, в старом буфете, я обнаружила свалку своих стихов. Черновики, беловики, журналы с публикациями – все это я однажды наспех запихнула в большой пластиковый мешок и отвезла на дачу.

На самом деле это предательство.

Среди бумаг было еще и мое старое эссе о Константине Батюшкове. По сути, первый мой опыт в прозе. Двенадцать почти истлевших, исчерканных страниц машинописного текста. Единственный экземпляр, не тронутый редакторской и цензурной правкой. В журнале «Сельская молодежь» эссе вышло в искаженном виде, уже не помню почему. Но отлично помню, с каким острым, болезненным чувством я когда-то открыла для себя этого поэта, как ездила в Вологду, как сидела ночью на полу в ванной в гостинице ЦК ВЛКСМ и читала единственное прижизненное собрание

сочинений поэта с его пометками на полях. Книгу дали мне хранители музея Батюшкова, всего лишь на одну ночь. А в ванной я заперлась потому, что к моим соседкам пришли гости. Соседки были спортсменки-пятиборки. Гости летчики. Они пили и веселились. Я с удивлением обнаружила, что читаю письма поэта по-французски, без всяких усилий, хотя почти не владею этим языком. Я плакала по Константину Батюшкову так, словно знала его, любила, потеряла, словно он, старый и безумный, этой ночью умер у меня на руках.

Прошло двадцать лет. Остался истлевший черновик и приглаженная, вполне успешная публикация в молодежном журнале. Я поняла, что своей ленью, небрежностью, идиотским снобизмом предаю не только себя, но и Батюшкова, и Блеза Паскаля, которому посвятила одно из лучших своих стихотворений, и множество счастливых дней и ночей, наполненных живым дыханием бывших и будущих моих героев.

Я не стала запихивать рукописи назад, в мешок. Мне захотелось собрать книгу, не только из старых моих стихов и эссе, но включить туда то, что было написано совсем недавно. Накопилось много всего: очерки, рассказы, эссе.

Роман я обычно пишу не больше года. Эту тоненькую книжку писала двадцать лет. То есть она писалась сама со-

бой. Она похожа на качели, на быстрые легкие перелеты из прошлого в настоящее и обратно. Я не знаю, что получилось. Пусть судит читатель.

*Автор*

# Эссе. Стихи разных лет

## Горожанин и друг горожан

### *Время и судьба*

### *Константина Батюшкова*

*Что ж, поднимай удивленные брови,  
Ты, горожанин и друг горожан,  
Вечные сны, как образчики крови,  
Переливай из стакана в стакан.*

*О. Э. Мандельштам. «Батюшков»*

В Вологде шел снег и путал краски. Было начало июля. Под лиловым небом, под белым колючим ветром недоуменно ежилась мокрая зелень бульвара. В черной глянцевой мостовой плавилось отражение двухсотлетнего красно-белого дома. Силуэт в окне второго этажа вполне мог принадлежать поэту, который когда-то здесь жил и умер. Сейчас здесь ПТУ, и только две комнаты отданы под музей поэта.

Двадцать два года бродил он тенью в покоях отставного капитана флота Григория Абрамовича Гревенца, своего племянника и опекуна. Бродил и бредил, тайком отламывал стрелки часов, из свечного воска лепил фигурки Тассо, Бай-



рона, Иисуса Христа, рисовал и раздавал многочисленным капитанским детям сумрачные акварели, сердился, если картинка оказывалась не у того ребенка, для которого была нарисована. Говорил он мало, и в основном с самим собой. Все шептал строку из своего стихотворения: «И Кесарь мой – святой косарь». Умолял «не влачить в пыли Карамзина и весь русский язык».

Константин Николаевич Батюшков был болен неизлечимо. Он был безумен всю вторую половину жизни.

Незадолго до кончины он опомнился, проснулся, рассудок его стал ясен. Он вдруг обнаружил, что существует в пространстве и во времени, и, стало быть, ничего не страшно. Ему было шестьдесят шесть лет.

Шел 1853 год. Уже не было в живых ни Пушкина, ни Батюшкова, ни Лермонтова, ни Гоголя. Усадебная, неторопливая Россия, страна почтовых трактов, извозчиков, станционных смотрителей, стала страной Николаевской железной дороги, каменных колодцев Петербурга, сторбленных быстрых пешеходов, пасмурных чиновных горожан. Еще через десяток лет русская словесность вложит топор в руку своего сложного мыслящего героя и залепечет о высшей и вечной любви мокрыми губами тихонькой петербургской проститутки. А пока в Вологде больной старик, участник Прусского похода, свидетель пожара Москвы, входивший в Париж адъютантом генерала Раевского, поэт допушкинского отрочества нашей литературы, пишет свое последнее стихо-

творение:

Премудро создан я, могу на свет сослаться;  
Могу чихнуть, могу зевнуть;  
Я просыпаюсь, чтоб заснуть,  
И сплю, чтоб вечно просыпаться.

Когда-то в молодости у Батюшкова возникла в голове странная строка: «У времени примерзли крылья». Он записал ее в черновике. Это оказалось определением его собственного времени. Каждый поэт при жизни и после смерти имеет, кроме имени, еще и время собственное. С ним он ведет свой вечный диалог.

Гений берет эпоху с ее запахами, сплетнями, модами, привычками, с ежедневной каруселью маленьких скучных событий, берет и поднимает до космической вневременной ясности. Будни первой трети девятнадцатого века начинаются с быта семьи Лариных, с онегинского кабинета, с каморки станционного смотрителя Вырина и карточной игры у конногвардейца Нарумова. Телесное, тленное обаяние эпохи выживает только благодаря гению. Девятнадцатый век до зрелого Пушкина для нас далек и темен. Он начинается тогда, когда его изображает гений. И больше уже не кончается.

Гению его время не мешает и не помогает. Он для времени, для конкретной эпохи, в которой довелось жить, не сын, не пасынок, не герой, не жертва. Они спокойные собеседники на равных. Эпоха может строить козни, жестоко мучить

человека разными житейскими обстоятельствами, но она не способна помешать гению. Какие обстоятельства могли помешать Пушкину стать Пушкиным? Об этом можно фантазировать на детском уровне «что было бы, если бы...». Но изменить ничего нельзя. Пушкин гений на все времена, он победитель, и сколько ни швыряли в него камней завистливые современники и потомки, ничего ему не делается.

С талантом все обстоит печальней. Талант целиком зависит от времени, от обстоятельств. Эпоха сама распоряжается им, ломает и мнет, как ей вздумается. Человек, зараженный поэзией, просто талантливый человек, почему-то почти всегда становится пасынком своей эпохи. Он не бывает ни сыном, ни героем. На протяжении полутора веков, включая вторую половину девятнадцатого и почти весь двадцатый, чувство сиротства во времени, чувство зависимости от эпохи с ее жуткими обстоятельствами озвучивалось отдельными строками и целыми стихами. У Цветаевой яркая горькая паника: «В этом христианнейшем из миров поэты – жидаы». У Ахматовой спокойная констатация факта: «Здесь все меня переживет».

Но первым это осознал Батюшков. Осознал и сошел с ума. Время сыграло с ним злую шутку. Современник Карамзина и Жуковского, близкий предшественник Пушкина, он дожил до времен Некрасова и Фета, Толстого и Достоевского, и успел страшно мало написать. Мешали обстоятельства. Записные книжки насыщены планами, набросками, замысла-

ми. Жизнь его – пунктирный набросок. Творчество – шка-  
тулка с чудесами, с обломками драгоценных случайностей.

В литературоведении существует шесть полновесных, как  
чугунные гири, определений поэта Батюшкова: неоклассик,  
предромантик, романтик, реалист, представитель «легкой  
поэзии», карамзинист. Белинский сказал о нем веско и гроз-  
но: «талант, задушенный временем». Еще железней выра-  
зился критик Айхенвальд: «Батюшков затмился и раство-  
рился в Пушкине, так что в известном смысле он теперь  
больше не нужен».

Ну, да Бог им всем судья, господам критикам. Батюшкову  
в истории литературы и так неуютно, а тут еще они со своими  
гириями.

Чуть ли не самым значительным произведением поэта  
принято считать элегию «Умиравший Тасс». В 1817 году  
он написал своему близкому другу, Гнедичу: «Я послал те-  
бе „Умиравшего Тасса“, а сестрица послала тебе чулки; не  
знаю, что более тебе понравится, и что прочней, а до потом-  
ства ни стихи, ни чулки не дойдут, в этом я уверен».

Батюшков считал себя неудачником и в записных книж-  
ках перечислял следующие резоны:

«Первый резон: мал ростом. 2-й – не довольно дороден;  
3-й – рассеян».

Далее, в столбик, по номерам: «не чиновен, не знатен, не  
богат, не женат, не умею играть в бостон и в вист, ни в шах,  
ни в мат».

В письмах Гнедичу он оправдывался перед ним и перед собой: «Какую жизнь я вел для стихов? Три войны, все на коне, и в мире – на большой дороге. Спрашиваю тебя – в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершенное?»

Старинный боярский род Батюшковых с Екатерининских времен нес на себе некую печать, то ли невезения, то ли чего-то худшего. Двоюродный дед поэта участвовал в дворянской оппозиции. Целью заговорщиков было убийство Екатерины II или пострижение ее в монахини. Пятнадцатилетний Николай Львович Батюшков, отец поэта, был привлечен своим дядюшкой к заговору против государыни. Дядюшку разоблачили, сослали на дальний север, где он вскоре помер. Юного племянника помиловали. Навек напуганный Николай Львович поселился в отдаленном имении Даниловском и бестолковыми хозяйственными мероприятиями вдохновенно губил и без того нищее имение. В семье его рождались одни только девочки, и только в 1787-м на свет появился долгожданный сын.

В семилетнем возрасте Константин лишился матери. Александра Григорьевна Батюшкова, урожденная Бердяева, умерла в полном безумии, вдали от детей, в Петербурге. Отец был человеком взбалмошным и деспотичным. Мальчик, соответственно, рос нервным и робким. О семейной склонности к душевным заболеваниям по отцовской и мате-

ринской линии он знал с детства.

Юноша Батюшков сказал о себе: «Душою в людстве сир». А впрочем, как же не чувствовать себя сиротой, когда у тебя в семь лет мама умерла? Жизнь, обычная, будничная, перестала ему нравиться раз и навсегда. Он представлял ее совсем иначе. Он хотел быть поэтом, и каждый вечер, укладываясь спать, мечтал проснуться поэтом. А получалось какое-то недоразумение. Вот его послужной список: канцелярский письмоводитель, библиотечный служащий, офицер в глухом захолустье, где-то в Каменец-Подольске.

Что касается литературного заработка, он тогда был вообще немыслим. Редакторы журналов благодарили авторов «за прекрасный подарок». Книги издавались за собственный счет, или за счет друзей-меценатов. Первые литературные гонорары стали выплачивать авторам издатели «Полярной звезды» Бестужев и Рылеев. Это было в 1823-м. А в 1825-м Пушкин, сравнивая положение русского литератора с европейским, писал: «Там пишут для денег, а у нас из тщеславия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожился на них. Там есть нечего – так пишут книгу, а у нас есть нечего – так служи, да не сочиняй».

Вот бедный Батюшков и служил. Это мешало ему сочинять.

«Жить в обществе, носить на себе тяжелое ярмо должностей, часто ничтожных и суетных, и хотеть согласовать выгоды самолюбия с желанием славы – есть требование истин-

но суетное. Что образ жизни действует сильно и постоянно на талант, в том нет сомнения... Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека. Я желаю – пускай назовут мое желание странным! – желаю, чтобы поэту приписали особый образ жизни, пиитическую диетику...»

Дело, конечно, было не в мечте о «диетике». Просто хотелось писать стихи, а на это не оставалось времени. И денег всегда не хватало. И вообще, жилось неуютно, одиноко. Отроческое одиночество, предромантический озноб маленького незащищенного человека, обманутого жизнью, обстоятельствами и людьми, тоже, в общем, маленькими, но не предромантическими, а самыми обычными, – все это уже появилось в нашей словесности. «Бедная Лиза» Карамзина. Обманутая любовь, поруганная чистота. Проза «Золотого века» начиналась с простого чистого сострадания обиженному существу. Потом, через несколько десятилетий, маленькие поруганные героини вместо того, чтобы топиться, примутся спасать заблудшие души героев. Одна поруганная пойдет на каторгу за философом-убийцей, другая, наоборот, сама убийца, увлечет за собой на каторгу своего погубителя-растлителя.

Но пока только самое начало девятнадцатого века, только предромантический озноб словесности, и маленькая героиня торгует цветами, а не собой.

«В молодости мы полагаем, что люди добры или злы; они белы или черны. Вступая в средние лета, открываем людей ни совершенно черных, ни совершенно белых. Монтень ска-

зал бы: серых... надобно жить с серыми, или жить в Диогеновой бочке».

Так, в записных книжках 1817 года, Батюшков робко констатирует собственное восприятие жизни. Но одно дело – житейский опыт, банальный и серый, и совсем другое – литература. Там все должно быть возвышенно и благородно. Какой такой житейский опыт? Надобно жить, служить, деньги зарабатывать. А хочется писать стихи. О чем же? О Торкватто Тассо? О древних греках и римлянах? О кудрявых водопадах, о море бедствий и розах сладострастья?

«Жить дома и садить капусту я умею, но у меня нет ни дома, ни капусты».

А время уходит, драгоценное время, которое можно было бы потратить на стихи; беспощадное, прожорливое время, с которым никогда, даже при самых благоприятных обстоятельствах, не получалось диалога на равных. Оно, время, для поэта отчим, злой, всесильный и равнодушный. Оно чудовище, от которого хочется спрятаться, а вот некуда, везде настигнет и все поглотит...

Жуковский, время все поглотит —

Тебя, меня и славы дым....

Впрочем, не так уж печально обстоят дела. Пока перед нами образованный пылкий юноша самого начала XIX века. В 1807-м Батюшков записался в ополчение и участвовал в



Прусском походе. Был ранен в ногу под Гейльсбергом. В одно из писем Гнедичу вложил картинку, набросок пером: кудрявый молодой человек в сюртуке стоит на одной ноге, опираясь на костыли. («Имей в виду, на костылях я очень забавен».)

Выздоровливая в Риге, в доме негоцианта Мюгеля, Батюшков влюбился в хозяйскую дочку Эмилию. Писал отцу в Даниловское, просил благословения. Получил гневный отказ: «Как! Потомственному русскому дворянину жениться на купеческой дочке? Проклянута и лишена наследства!». Торговец Мюгель не желал отдавать дочь за нищего.

Батюшков предложил возлюбленной бежать. Эмилия была девушкой нежной и пылкой, но рассудительной. «Надо же на что-то жить!»

Впрочем, и с родительским благословением жить Батюшкову было бы не на что. Ни дома, ни капусты. Так никогда ничего этого и не будет: ни дома, ни жены, ни детей. Зато будет война.

В 1813 году Батюшков отправился в действующую армию, в Дрезден, и стал адъютантом Раевского. Участвовал во взятии Парижа. Писал друзьям веселые письма о парижских театрах, о Лувре, о замке Сире. В письмах рассказывал анекдоты.

«Одного русского генерала спросили:

– Ваше превосходительство, что вам больше всего понравилось в Париже?

– Казаки, господа, казаки! – отвечал генерал».

Батюшкову, в отличие от генерала, в Париже больше всего понравились ноги. «Прелестные ноги прелестнейших женщин в мире».

Итак, пока все прекрасно. Война окончена. Вдоволь нагулявшись по Парижу, Батюшков отправился домой. Ему хотелось покоя. Он стремился за письменный стол. «Пора бледнеть над рифмами». Но бледнеть ему предстояло прежде всего от любви (впрочем, одно другому не мешает).

В 1813 году он увлекся воспитанницей Олениных девицей Анной Фурман. Просил руки. Получил отказ. Страдал всерьез. Эта страсть оказалась мучительней, чем юношеское увлечение купеческой дочкой Эмилией. Это была главная любовь в его жизни. Позже Анна согласилась стать его женой, но он уже чувствовал, что болен. А может, просто перегорел, перестрадал? Слишком уж красиво сформулировал причину отказа от руки и сердца любимой женщины: «Жертвовать собою позволено, жертвовать другими могут только злые сердца!»

В 1815 году художник Кипренский запечатлел поэта Батюшкова. Молодой человек с бакенбардами. Острый нос, пухлый детский рот, вполне поэтический взгляд. И все же в позе, в наклоне головы – напряженность, беспокойство. Может, просто устал позировать Кипренскому?

А вот словесный портрет: «Батюшков был небольшого роста, у него были высокие плечи, впалая грудь, русые воло-

сы, вьющиеся от природы, голубые глаза и томный взор. Оттенок меланхолии во всех чертах его лица соответствовал его бледности и мягкости его голоса, и это придавало всей его физиономии какое-то неуловимое выражение. Он обладал поэтическим воображением; еще более поэзии было в его душе. Он был энтузиаст всего прекрасного» (перевод с французского рукописи Е. Г. Пушкиной).

В начале XIX века поэт обязан был выглядеть бледным, томным, иметь неуловимое выражение всей своей физиономии и быть энтузиастом всего прекрасного.

«Дух пылкий и довольно странный» у пушкинского Ленского, у бедного влюбленного романтика, убитого в расцвете лет. Между прочим, в России все романтики обязаны быть последними и погибать молодыми. А что же им еще остается? Жить дома и садить капусту? Нет уж, милый, изволь соответствовать своему образу до конца.

У пушкинского Чарского, поэта из «Египетских ночей», те же проблемы: «В журналах звали его поэтом, а в лакейских – сочинителем... Зло, самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его прозвище, которым он заклеен и которое никогда от него не отпадет».

Пушкин уже перешагнул социальный барьер, отделяющий аристократа древней крови от труженика, коим является профессиональный литератор. Литературный заработок стал для него прямым источником существования. Для его старших современников проблема заработка была насто-

ящей бедой. Родительские имена уже не давали доходов. «Добрый приятель» Онегин – просто баловень судьбы. Дядюшкино наследство спасло его от прозаической чиновничьей должности, от необходимости зарабатывать – еще не на хлеб, но уже на бобровый воротник, на дорогие безделки в своем красивом кабинете, на счастье хандрить и скучать.

Между прочим, сам образ скучающего молодого человека впервые промелькнул именно у томного Батюшкова. Вот она, бледная тень будущего пушкинского героя:

Который посреди рассеяний столицы  
Тихонько замечал характеры и лица  
Забавных москвичей,  
Который год зевал на балах богачей,  
Зевал в концерте и в собраньи,  
Зевал на скачке, на гулянье,  
Везде равно зевал...

Набросок. Не более. Легкий пунктир. А вот еще пунктир, на этот раз в прозе:

«Жил на Пресненских прудах некто Н. Н., оригинал, весьма отличный от всех оригиналов московских. Всю жизнь он провел лежа, в совершенном бездействии телесном и, сколько возможно, душевном».

Тут откуда-то из вневременного далека машет вялой пухлой рукой родимая тень Ильи Ильича Обломова.

А кто первым обозвал девятнадцатый век «железным»?

Батюшков, причем еще в 1809. Это определение мелькнуло в скобках в его знаменитой сатире «Видение на берегах Леты», написанной в 1809 году. Через двадцать пять лет, в стихотворении «Последний поэт», Баратынский скажет: «Век шествует своим путем железным». И уже в двадцатом, в переключку вступит Блок:

Век девятнадцатый, железный,  
Воистину жестокий век.

Хотя не такой он, в сущности, был и жестокий, и не такой железный, во всяком случае, по сравнению с двадцатым.

Сколько еще у Батюшкова этих пунктиров? Сколько темней из будущего неприкаянно бродило по страницам его записных книжек?

«Ему около тридцати лет. Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя; посмотришь завтра – ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инок. Он тонок, сух, бледен, как полотно. Он перенес три войны и на биваках был здоров, в покое умирал. В походе никогда не унывал и всегда готов был жертвовать жизнью с чудесной беспечностью, которой сам удивлялся; в мире для него все тягостно, и малейшая обязанность, какого бы рода ни была, есть тягостное бремя».

Это из записных книжек 1817 года, о самом себе. Очередной набросок автопортрета.

А это уже совсем другая проза: «Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте; все иззябнут, устанут, – а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился; ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет; а при мне ходил на кабана один на один; бывало, по целым часам слова не добьешься, зато уж иногда как начнет рассказывать, так животики надорвешь от смеха...»

Портрет Печорина, увиденного глазами Максима Максимовича.

Странная закономерность – самые неожиданные пункты, самые четкие тени из будущей русской литературы появлялись у Батюшкова тогда, когда он писал о себе. В нем, живом, «не чиновном, не знатном, не богатом», в офицере трех войн, неприкаянном, одиноком человеке, уже не помещике, еще не чиновнике, сосредоточились все самые трагические и несуразные черты будущих героев Пушкина и Лермонтова. Может, родился он десятью годами позже, он бы «не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума». Однако родился он, когда родился. Поэтом сделался потому, что «ни дня без рифм, без стоп не можно проводить». Сошел с ума потому, что болезнь была в крови. И умер дважды. В 1823-м для литературы, а потом, в 1855-м, скончался в Вологде от тифозной горячки помешанный старик.

Впрочем, речь пока о молодом поэте, изобразившем са-

мого себя в странном отрывке. Забавно, что именно на 1817 год пришелся для Батюшкова расцвет его литературной жизни. «Арзамас», знакомство с Пушкиным, выход в свет книги «Опыты в стихах и прозе». Чем не «поэтическая диета»? И служебные дела складывались неплохо. В 1818-м Батюшкова отправили на дипломатическую службу в Италию. Вот тут бы и творить, и жить, переписывать черновики, превращать наброски и планы в нечто большее. Однако нет. Из теплой прекрасной поэтической Италии он написал Жуковскому: «Посреди всех чудес удивись перемене, которая во мне сделалась, – я вовсе не могу писать стихов».

Как раз в это время на страницах журнала «Сын отечества» появилось стихотворение молодого поэта П. А. Плетнева «Б...ов из Рима». Подписи не было, и публика приписала авторство Батюшкову. Смысл слабенькой элегии сводился к признанию поэта в своем творческом бессилии. Батюшков воспринял публикацию как пасквиль и одновременно как злое пророчество. Он отправил на родину такой ответ: «Г.г. издателям журнала „Сын отечества“ и других русских журналов.

Прошу Вас покорнейше известить Ваших читателей, что я не принимал, не принимаю и не буду принимать ни малейшего участия в издании журнала „Сын отечества“... Дабы впредь избежать и тени подозрения, объявляю, что я, в бытность мою в чужих краях, ничего не писал и ничего не буду печатать под моим именем».

Через некоторое время он подает прошение царю – разрешить ему удалиться в монастырь и постричься в монахи. На это следует ответ Александра I:

«1. Объявить Батюшкову, что прежде изъявления согласия на пострижение, государю угодно, чтобы он ехал лечиться в Дерпт, а может быть, и далее.

2. Выдать Жуковскому пожалование 500 червонцев на путевые издержки Батюшкова.

3. Назначить для сопровождения курьера».

По дороге он постоянно сбегал, то в лес, то в поле. Его находили спящим где-нибудь на обочине, с трудом возвращали. Василий Андреевич Жуковский и царский курьер, сопровождавшие его, намучились с ним.

Дольше всех не мог поверить в безумие Батюшкова Пушкин. В 1822-м он писал Вяземскому из Петербурга в Москву: «Мне писали, что Батюшков помешался: быть нельзя; уничтожь это вранье».

Брату Льву в 1823-м, из Кишинева в Петербург: «Батюшков в Крыму. Орлов с ним видался часто. Кажется мне, он от ума шутит».

В 1823-м Батюшков трижды покушался на самоубийство, сжег свою библиотеку. В 1824-м сестра увезла его в Саксонию, в психиатрическую лечебницу. Летом 1828го его вернули на родину, уже без малейшей надежды на выздоровление. К весне 1830-го он был при смерти.

Пушкин – Вяземскому, вторая половина марта 1830 го-



да, из Москвы в Петербург: «Наше житье сносно. Дядя жив. Дмитриев очень мил. Зубков член клуба. Ушаков крив. Батюшков умирает...»

Но он не умер. Уже был вызван священник, и многие пришли прощаться. В доме на Тишинах 22 марта была отслужена всенощная. Лечивший его доктор Дитрих записал в своем дневнике:

«Певчие пели посредственно, но издали пение трогало больного. Двери были раскрыты, и звуки доносились до него. Он лежал неподвижно на диване с сомкнутыми глазами и даже не пошевелился, когда на стол к нему поставили свечу. Поэт Александр Пушкин, бывший во время службы вместе с Муравьевой и кн. Вяземской, подошел к столу, у которого лежал больной, и оживленно стал что-то говорить ему. Больной не шевельнулся...»

Нет, он не умер. Но о нем, о живом, уже писали как о мертвом. В самом деле, какое отношение имел этот измученный, помешанный человек к многообещающему поэту, к пламенному арзамасцу?

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.